

Посвящается моему другу О. С. Ч.

I

ДУРАК

Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Накануне, в 9-м часу вечера, приехал господин с чемоданом, занял номер, отдал для прописки свой паспорт, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтоб его не тревожили вечером, потому что он устал и хочет спать, но чтобы завтра непременно разбудили в 8 часов, потому что у него есть спешные дела, запер дверь номера и, пошумев ножом и вилокю, пошумев чайным прибором, скоро притих, — видно, заснул. Пришло утро; в 8 часов слуга постучался к вчерашнему приезжему — приезжий не подает голоса; слуга постучался сильнее, очень сильно — приезжий все не откликается. Видно, крепко устал. Слуга подождал четверть часа, опять стал будить, опять не добудился. Стал советоваться с другими слугами, с буфетчиком. «Уж не случилось ли с ним чего?» — «Надо выломать двери». — «Нет, так не годится: дверь ломать надо с полициею». Решили: попытаться будить еще раз, посильнее; если и тут не проснется, послать за полициею. Сделали последнюю пробу; не добудились; послали за полициею и теперь ждут, что увидят с нею.

Часам к 10-ти утра пришел полицейский чиновник, постучался сам, велел слугам постучаться, — успех тот же, как и прежде. «Нечего делать, ломай дверь, ребята».

Дверь выломали. Комната пуста. «Загляните-ко под кровать» — и под кроватью нет проезжего. Полицейский чинов-

ник подошел к столу, — на столе лежал лист бумаги, а на нем крупными буквами было написано:

«Ухожу в 11 часов вечера и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту, между 2-мя и 3-мя часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь».

— Так вот оно, штука-то теперь и понятна, а то никак не могли сообразить, — сказал полицейский чиновник.

— Что же такое, Иван Афанасьевич? — спросил буфетчик.

— Давайте чаю, расскажу.

Рассказ полицейского чиновника долго служил предметом одушевленных пересказов и рассуждений в гостинице. История была вот какого рода.

В половине 3-го часа ночи — а ночь была облачная, темная — на середине Литейного моста сверкнул огонь, и послышался пистолетный выстрел. Бросились на выстрел караульные служители, сбегались малочисленные прохожие, — никого и ничего не было на том месте, где раздался выстрел. Значит, не застрелил, а застрелился. Нашлись охотники нырять, притащили через несколько времени багры, притащили даже какую-то рыбацкую сеть, ныряли, нащупывали, ловили, поймали полсотни больших щеп, но тела не нашли и не поймали. Да и как найти? — ночь темная. Оно в эти два часа уж на взморье, — поди, ищи там. Поэтому возникли прогрессисты, отвергнувшие прежнее предположение: «А может быть, и не было никакого тела? может быть, пьяный, или просто озорник, подурачился, — выстрелил, да и убежал, — а то, пожалуй, тут же стоит в хлопочущей толпе да подсмеивается над тревогою, какую наделал».

Но большинство, как всегда, когда рассуждает благоразумно, оказалось консервативно и защищало старое: «какое подурачился — пустил себе пулю в лоб, да и все тут». Прогрессисты были побеждены. Но победившая партия, как всегда, разделилась тотчас после победы. Застрелился, так; но отчего? «Пьяный», — было мнение одних консерваторов; «промотался», — утверждали другие консерваторы. — «Просто дурак», — сказал кто-то. На этом «просто дурак» сошлись все, даже и те, которые отвергали, что он застрелился. Действительно, пьяный ли, промотавшийся ли застрелился, или озорник, вовсе

не застрелился, а только выкинул штуку, — все равно, глупая, дурацкая штука.

На этом остановилось дело на мосту ночью. Поутру, в гостинице у Московской железной дороги, обнаружилось, что дурак не подурачился, а застрелился. Но остался в результате истории элемент, с которым были согласны и побежденные, именно, что если и не пошалил, а застрелился, то все-таки дурак. Этот удовлетворительный для всех результат особенно прочен был именно потому, что восторжествовали консерваторы: в самом деле, если бы только пошалил выстрелом на мосту, то ведь, в сущности, было бы еще сомнительно, дурак ли, или только озорник. Но застрелился на мосту, — кто же стреляется на мосту? Как же это на мосту? Зачем на мосту? глупо на мосту! — и потому, несомненно, дурак.

Опять явилось у некоторых сомнение: застрелился на мосту; на мосту не стреляются, — следовательно, не застрелился. — Но к вечеру прислуга гостиницы была позвана в часть смотреть вытащенную из воды простреленную фуражку, — все признали, что фуражка та самая, которая была на проезжем. Итак, несомненно застрелился, и дух отрицания и прогресса побежден окончательно.

Все были согласны, что «дурак», — и вдруг все заговорили: на мосту — ловкая штука! Это чтобы, значит, не мучиться долго, коли не удастся хорошо выстрелить, — умно рассудил! От всякой раны свалится в воду и захлебнется, прежде чем опомнится, — да, на мосту... умно!

Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать, — и дурак, и умно.

II

ПЕРВОЕ СЛЕДСТВИЕ ДУРАЦКОГО ДЕЛА

В то же самое утро, часу в 12-м, молодая дама сидела в одной из трех комнат маленькой дачи на Каменном острове, шила и вполголоса напевала французскую песенку, бойкую, смелую.

«Мы бедны, — говорила песенка, — но мы рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться — знание освободит нас; будем трудиться — труд обогатит нас, — это дело пойдет, — поживем, доживем —

Ça ira,
Qui vivra, verra*.

Мы грубы, но от нашей грубости терпим мы же сами. Мы исполнены предрассудков, но ведь мы же сами страдаем от них, это чувствуется нами. Будем искать счастья, и найдем гуманность, и станем добры, — это дело пойдет, — поживем, доживем.

Труд без знания бесплоден, наше счастье невозможно без счастья других. Просветимся — и обогатимся; будем счастливы — и будем братья и сестры, — это дело пойдет, — поживем, доживем.

Будем учиться и трудиться, будем петь и любить, будет рай на земле. Будем же веселы жизнью, — это дело пойдет, оно скоро придет, все дождемся его, —

Donc, vivons,
Ça bien vite ira,

Ça viendra,
Nous tous le verrons**.

Смелая, бойкая была песенка, и ее мелодия была веселая, — было в ней две-три грустные ноты, но они покрывались общим светлым характером мотива, исчезали в рефрене, исчезали во всем заключительном куплете, — по крайней мере, должны были покрываться, исчезать, — и исчезали бы, если бы дама была в другом расположении духа; но теперь у ней эти немногие грустные ноты звучали слышнее других,

* Дело пойдет,
Кто будет жить, увидит (*фр.*).

** Итак, живем,
Оно скоро придет,
Оно придет,
Мы его увидим (*фр.*).

она как будто встрепенется, заметив это, понизит на них голос и сильнее начнет петь веселые звуки, их сменяющие, но вот она опять унесется мыслями от песни к своей думе, и опять грустные звуки берут верх. Видно, что молодая дама не любит поддаваться грусти; только видно, что грусть не хочет отстать от нее, как ни отталкивает она ее от себя. Но грустна ли веселая песня, становится ли опять весела, как ей следует быть, дама шьет очень усердно. Она хорошая швея.

В комнату вошла служанка, молоденькая девушка.

— Посмотрите, Маша, каково я шью? я уж почти кончила рукавчики, которые готовлю себе к вашей свадьбе.

— Ах, да на них меньше узора, чем на тех, которые вы мне вышили!

— Еще бы! Еще бы невеста не была наряднее всех на свадьбе!

— А я принесла вам письмо, Вера Павловна.

По лицу Веры Павловны пробежало недоумение, когда она стала распечатывать письмо: на конверте был штемпель городской почты. «Как же это? ведь он в Москве?» Она торопливо развернула письмо и побледнела; рука ее с письмом опустилась. «Нет, это не так, я не успела прочесть, в письме вовсе нет этого!» И она опять подняла руку с письмом. Все было делом двух секунд. Но в этот второй раз ее глаза долго, неподвижно смотрели на немногие строки письма, и эти светлые глаза тускнели, тускнели, письмо выпало из ослабевших рук на швейный столик, она закрыла лицо руками, зарыдала. «Что я наделала! Что я наделала!» — и опять рыданье.

— Верочка, что с тобой? Разве ты охотница плакать? когда ж это с тобою бывает? Что ж это с тобой?

Молодой человек быстрыми, но легкими, осторожными шагами вошел в комнату.

— Прочти... оно на столе...

Она уже не рыдала, но сидела неподвижно, едва дыша.

Молодой человек взял письмо; и он побледнел, и у него задрожали руки, и он долго смотрел на письмо, хотя оно было не велико, всего-то слов десятка два:

«Я смушал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалейте; я так люблю вас обоих, что очень счастлив своею решимостью. Прощайте».

Молодой человек долго стоял, потирая лоб, потом стал крутить усы, потом посмотрел на рукав своего пальто; наконец он собрался с мыслями. Он сделал шаг вперед к молодой женщине, которая сидела по-прежнему неподвижно, едва дыша, будто в летаргии. Он взял ее руку:

— Верочка!

Но лишь коснулась его рука ее руки, она вскочила с криком ужаса, как поднятая электрическим ударом, стремительно отшатнулась от молодого человека, судорожно оттолкнула его:

— Прочь! Не прикасайся ко мне! Ты в крови! На тебе его кровь! Я не могу видеть тебя! Я уйду от тебя! Я уйду! отойди от меня! — И она отталкивала, все отталкивала пустой воздух и вдруг пошатнулась, упала в кресло, закрыла лицо руками.

— И на мне его кровь! На мне! Ты не виноват — я одна... я одна! Что я наделала! Что я наделала!

Она задыхалась от рыдания.

— Верочка, — тихо и робко сказал он, — друг мой!..

Она тяжело перевела дух и спокойным и все еще дрожащим голосом проговорила, едва могла проговорить:

— Милый мой, оставь теперь меня! Через час войди опять, — я буду уже спокойна. Дай мне воды и уйди!

Он повиновался молча. Вошел в свою комнату, сел опять за свой письменный стол, у которого сидел такой спокойный, такой довольный за четверть часа перед тем, взял опять перо... «В такие-то минуты и надобно уметь владеть собою; у меня есть воля, — и все пройдет... пройдет»... А перо, без его ведома, писало среди какой-то статьи: «перенесет ли? — ужасно, — счастье погибло»...

— Милый мой! я готова, поговорим! — послышалось из соседней комнаты. Голос молодой женщины был глух, но тверд.

— Милый мой, мы должны расстаться. Я решилась. Это тяжело. Но еще тяжелее было бы нам видеть друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя.

— Верочка, чем же ты виновата?

— Не говори ничего, не оправдывай меня, или я возненавижу тебя. Я, я во всем виновата. Прости меня, мой милый, что я принимаю решение, очень мучительное для тебя, — и для меня, мой милый, тоже! Но я не могу поступить иначе, ты сам через несколько времени увидишь, что так следовало сделать. Это неизменно, мой друг. Слушай же. Я уезжаю из Петербурга. Легче будет вдали от мест, которые напоминали бы прошлое. Я продаю свои вещи; на эти деньги я могу прожить несколько времени, — где? в Твери, в Нижнем, я не знаю, все равно. Я буду искать уроков пения; вероятно, найду, потому что поселюсь где-нибудь в большом городе. Если не найду, пойду в гувернантки. Я думаю, что не буду нуждаться; но если буду, обращусь к тебе; позаботься же, чтоб у тебя на всякий случай было готово несколько денег для меня; ведь ты знаешь, у меня много надобностей, расходов, хоть я и скупа; я не могу обойтись без этого. Слышишь? Я не отказываюсь от твоей помощи! пусть, мой друг, это доказывает тебе, что ты остаешься мил мне... А теперь, простимся навсегда! Отправляйся в город... сейчас, сейчас! мне будет легче, когда я останусь одна. Завтра меня уже не будет здесь — тогда возвращайся. Я еду в Москву, там осмотрюсь, узнаю, в каком из провинциальных городов вернее можно рассчитывать на уроки. Запрещаю тебе быть на станции, чтобы провожать меня. Прощай же, мой милый, дай руку на прощанье, в последний раз пожму ее.

Он хотел обнять ее, — она предупредила его движение.

— Нет, не нужно, нельзя! Это было бы оскорблением ему. Дай руку. Жму ее — видишь, как крепко! Но прости!

Он не выпускал ее руки из своей.

— Довольно, иди. — Она отняла руку, он не смел противиться. — Прости же!

Она взглянула на него так нежно, но твердыми шагами ушла в свою комнату и ни разу не оглянулась на него уходя.

Он долго не мог отыскать свою шляпу; хоть раз пять брал ее в руки, но не видел, что берет ее. Он был как пьяный; наконец понял, что это под рукою у него именно шляпа, кото-

рую он ищет, вышел в переднюю, надел пальто; вот он уже подходит к воротам: «кто это бежит за мною? верно, Маша... Верно, с нею дурно!» Он обернулся — Вера Павловна бросилась ему на шею, обняла, крепко поцеловала.

— Нет, не утерпела, мой милый! Теперь прости навсегда!

Она убежала, бросилась в постель и залилась слезами, которые так долго сдерживала.

III

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Содержание повести — любовь, главное лицо — женщина, — это хорошо, хотя бы сама повесть и была плоха», — говорит читательница.

— Это правда, — говорю я.

Читатель не ограничивается такими легкими заключениями, — ведь у мужчины мыслительная способность и от природы сильнее, да и развита гораздо больше, чем у женщины; он говорит, — читательница тоже, вероятно, думает это, но не считает нужным говорить, и потому я не имею основания спорить с нею, — читатель говорит: «я знаю, что этот застрелившийся господин не застрелился». Я хватаюсь за слово «знаю» и говорю: ты этого не знаешь, потому что этого тебе еще не сказано, а ты знаешь только то, что тебе скажут; сам ты ничего не знаешь, не знаешь даже того, что тем, как я начал повесть, я оскорбил, унизил тебя. Ведь ты не знал этого, — правда? — Ну, так знай же.

Да, первые страницы рассказа обнаруживают, что я очень плохо думаю о публике. Я употребил обыкновенную хитрость романистов: начал повесть эффектными сценами, вырванными из середины или конца ее, прикрыл их туманом. Ты, публика, добра, очень добра, а потому ты неразборчива и недогадлива. На тебя нельзя положиться, что ты с первых страниц можешь различить, будет ли содержание повести стоить того, чтобы прочесть ее, у тебя плохое чутье, оно нуждается в пособии, а пособий этих два: или имя автора, или эф-

фектность манеры. Я рассказываю тебе еще первую свою повесть, ты еще не приобрела себе суждения, одарен ли автор художественным талантом (ведь у тебя так много писателей, которым ты присвоила художественный талант!), моя подпись еще не заманила бы тебя, и я должен был забросить тебе удочку с приманкою эффектности. Не осуждай меня за то, — ты сама виновата; твоя простодушная наивность принудила меня унизиться до этой пошлости. Но теперь ты уже попала в мои руки, и я могу продолжать рассказ, как, по-моему, следует, без всяких уловок. Дальше не будет таинственности, ты всегда будешь за двадцать страниц вперед видеть развязку каждого положения, а на первый случай я скажу тебе и развязку всей повести: дело кончится весело, с бокалами, песнью; не будет ни эффектности, никаких прикрас. Автору не до прикрас, добрая публика, потому что он все думает о том, какой сумбур у тебя в голове, сколько лишних, лишних страданий делает каждому человеку дикая путаница твоих понятий. Мне жалко и смешно смотреть на тебя: ты так немощна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове.

Я сердит на тебя за то, что ты так зла к людям, а ведь люди — это ты: что же ты так зла к самой себе? Потому я и браню тебя. Но ты зла от умственной немощности, и потому, браня тебя, я обязан помогать тебе. С чего начать оказывание помощи? Да хоть с того, о чем ты теперь думаешь: что́ это за писатель, так нагло говорящий со мною? — я скажу тебе, какой я писатель.

У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего: читай, добрейшая публика! прочтешь не без пользы. Истина — хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. Поэтому я скажу тебе: если б я не предупредил тебя, тебе, пожалуй, показалось бы, что повесть написана художественно, что у автора много поэтического таланта. Но я предупредил тебя, что таланта у меня нет, — ты и будешь знать теперь, что все достоинства повести даны ей только ее истинностью.